

ЗА ЧТО ТИРАН НЕНАВИДЕЛ ЗОЩЕНКО И ПЛАТОНОВА

В чем следует обвинить писателя, рассчитывая его уничтожить? «Таких героев, которые были бы типичны, несли в себе основные черты характера советского народа, наиболее полно выражали сущность его, нет в романе «За правое дело»... Образы советских людей в романе «За правое дело» обеднены, унижены, обесцвечены». Цитата из статьи погромщика Михаила Бубеннова — а погром романа Василия Гроссмана был не только одобрен, но практически заказан самим Сталиным.

Советский народ — как многомиллионное божество, которое никто не видел воочию, но каждый обязан воспринимать как нечто реальное и идеальное в то же время. Божество, чем невидимее, тем материальнее, — до такой степени, что его именем можно непосредственно миловать и карать: «Советский народ принял и полюбил такие произведения, как... Советский народ с гневом отверг...»

И тот же Гроссман, еще не достигший своей вершины — арестованного романа «Жизнь и судьба», но уже, может быть, как никто, показавший человека на войне, подвергается гражданской казни (по случайности избежав физической).

А Бубеннов читает о себе в день юбилея: «Его книги — художественная летопись истории борьбы и побед нашего народа».

Но вот что писал Мандельштам в уникальной, отчаянно-бешеной «Четвертой прозе»: «У нас есть библия труда, но мы ее не ценим».

О чем речь? Понятно, что Мандельштам не мог иметь в виду ни гладковского «Цемент», ни шагиняновской «Гидроцентрали», ни одного из так называемых «производственных романов», существовавших, дабы воспевать труд как главную функцию строителя коммунизма.

А все ж неожиданно: «Это рассказы Зошени. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зошени по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова в Летнем саду».

Говоря о грязи, предвидел ли он такую? «Кто такой Зошени?.. Пошляк... Его произведения — рвотный порошок... Возмутительная хулиганская повесть... Отщепенец и выродец... Пакостник, мусорщик, слякоть... Человек без морали, без совести». (Тезисы доклада Жданова на собрании ленинградских писателей.)

Что ж, это было логично.

«Страшнее Врангеля обывательский быт!» — я уже цитировал Маяковского, добавляя: да, Врангеля достаточно разбить один раз, а «средний человек» (выражение Зошени) просит есть каждодневно. И, черт его подери, мечтает о разнообразии меню: «Когда ему выдали сахар и мыло, /Он стал добиваться селедок с крупой./ ...Типичная пошлость царя/ В его голове небольшой».

«Неблагодарный пайщик» — называется четверостишие Николая Олейникова, и действительно, что за черная неблагодарность! Власть предоставляет обывателю пай в том, чем сама вправе гордиться: индустриализация... ДнепрогЭС... стахановское движение... — а он канючит про крупу и селедку. Являя преступную непеременимость с тех времен, когда парижский плебс горланил накануне бонапартистского переворота: «Хотим режима, при котором едят!».

Неугомонный желудок обывателя не менее враждебен тоталитаризму, чем взыскующий дух интеллигента. (Может быть, и враждебнее: дух удавалось сломить, а попробуй утихомирить желудок, бурчащий от голода.) И если невольный союз Духа и Брюха давно зафиксирован мировой литературой — Дон Кихот и Санчо, Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак, — то в

советских условиях этот союз, далеко не всегда осознаваемый, особенно со стороны Брюха, оказался цементирован равным недоверием «пролетарского» государства. Чью неприязнь поспешили разделить и выразить писатели. Чаше своекорыстно, но, случалось, и искренне — как, к сожалению, Горький.

«Уже десятки раз, — писал он в статье 30-х годов, словно бы возражая Олейникову, о котором, конечно, был ни сном ни духом, — воскрес в новых книгах старый знакомый Макар Девушкин и множество прочих «униженных и оскорбленных», но страдающих не столько по Достоевскому, сколько потому, что «патоки — мало, яиц — мало, масла — мало».

Такое пренебрежение к «обывателю» и «обывательщине» не было чем-то новым для Горького, шедшего от восхищения блатным Челкашом, свободным от чувства собственности, к приятию большевистско-чекистского насилия над массовым человеком страны, — сама его эволюция не обошлась без воздействия нелюбви к этому человеку. К тому, всецелую предназначенность для которого ощущал русский интеллигент, потому-то и оставаясь интеллигентом. Гневаясь на него, презирая, все-таки ощущал. Как Толстой. Как Некрасов. Как Чехов.

И — как Михаил Зощенко, которого, кстати, Горький нежно любил: художник на этот раз побеждал в нем идеолога? Вероятно. Хотя ведь и Зощенко, казалось, уж так насмешничал над своими «средними», еще называя их: «прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством». А «поступки» очень часто дрянные, и «беспокойство» — постыдное.

«...Что такое значит административный восторг и какая именно это штука? ...Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет... «Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть...» Если бы не явно несовременный и достаточно узнаваемый стиль (да, Достоевский, «Бесы»), можно было решить: некто комментирует постоянную коллизию в рассказах Зощенко — преобразование «маленького человека» в маленького чиновника. Даже в маленького тирана.

Монтер, который осуществляет свою функцию гегемона, обидевшись на администратора, а заодно и на тенора как на фигуру номер один и вырубив в театре свет: «Думает — тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету!». Что, между прочим, предвосхищает фразу, которая, вскорости изойдя из высочайших уст, определит положение индивидуальности в обществе: «У нас незаменимых нет».

Лекпом — фельдшер («История болезни»), с его опять же государственным мышлением: «Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания».

Банщик («Баня»), еще один микровладыка, отказывающийся выдать одежду без номерка (сам бумажный номерок «смылся»): «Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревки — полты не напасешься». Во всех случаях — «административный восторг», копирование иерархической структуры общества, и вряд ли ради одной лишь шутки памятный автор в «Голубой книге», задуманной как «краткая история человеческих отношений», находит для этого банщика, для «последней ничтожности», историческую аналогию. Грозный диктатор Люций Корнелий Сулла, недовольный, что платный убийца приносит голову не того, кто был «заказан», брюзжит: «Это каждый настрижет у прохожих голов — денег не напасешься».

«Я никогда не был антисоветским человеком», — писал Зощенко Сталину после ждановского, по сути — именно сталинского погрома. В точности, как Андрей Платонов, чье имя возникло здесь не случайно, сетовал, взывал к помощи Горького (безрезультатно): мол, его «Чевенгур» никак не желают печатать. «...Говорят, что революция в романе изображена неправильно, что все произведение поймут даже как контрреволюционное. Я же работал совсем с другими чувствами...»

Кривили душой? Ничуть, ибо тот же Зощенко всерьез полагал, будто искореняет «родимые пятна капитализма», однако, вольно или невольно, — с безыллюзорной жесткостью показав результат посягательства власти и государства на личность. Увы, беспомощную, податливую, отчего так легко возникают перерожденцы, перебежчики из мира «прочих незначительных граждан». «Прочих» — то есть, в сущности, большинства, почти всех, чья «незначительность» есть признак причастности к невыдуманному народу... Да просто — к людям.

Зощенко, защитно уверяющий Сталина, что он не «антисоветский», был прав еще и в неожиданном для него самом смысле: те свойства, которые в его персонажах вызывают у нас отвращение или жалость, мечены новыми обстоятельствами, но возникли во времена, когда еще не было коммунальных квартир, трамваев и алиментов. Отсюда аналогия с «Бесами». А могла бы возникнуть с Расплюевым Сухово-Кобылина, с плебеем, доросшим — через осведомительство — до полицейской должности. Автор «Дела» и «Смерти Тарелкина» прозорливо подозревал в «маленьком человеке», щедро политом слезами русской литературы, немалые и еще далеко не реализованные возможности перерождения в сторону «административного восторга».

И все же...

В «Золотом теленке», как помним, Остап со своей свитой поселяется в Вороньей слободке, где мерзки и ужасны все, кроме отсутствующего летчика Севрюгова, героически спасающего каких-то полярников. И который, понятно, не вернется в Слободку: уж ему-то правительство даст квартиру в Москве.

Все до единого не заслуживают сочувствия: не только камергер Митрич или князь Гигиенишвили, оба из «бывших», не только черносотенец-дворник Никита, Дуня-спекулянтка или даже косящий под интеллигента туняедец Лоханкин, но и «ничья бабушка». О ней не сказано ничего социально компрометирующего, но она — наследие старого мира, обреченное вместе с ним исчезнуть.

Это — смех победителей. Как в комедиях Маяковского. Как в фельетонах Кольцова. У Зощенко — смех побежденных, смех побежденного, как бы он на этот счет ни заблуждался.

Его герои — как раз «слобожане». Но хотя коммунальные потолки и квадратные метры изрядно снижают-сужают разворот страстей, в его Слободке обнаруживаются свой Ричард III, гений квартирной интриги, свой Скупой рыцарь («некто такой Сисяев. Такой довольно арапистый человек», который, когда ему померещился близкий конец, заглотал тайно хранимые золотые десятки: «Пушай это золото у меня в брюхе лежит, чем кто-нибудь им воспользуется»). Свой Дон Жуан: «Такой вообще педант и любимец женщин». Свой Гамлет...

Да обладай они афористическим даром героя рассказа Платонова, каждый из них мог бы, как тот, заявить о своей самоценности в общей массе: «Без меня народ не полный». Впрочем, и заявляют, как бы заставив — заставив! — автора говорить их языком.

«Обычно думают, что я искажаю «прекрасный русский язык»... нарочно пишу ломаным языком, — чуть не оправдывался Зощенко, почти как в том случае, когда отрицал свою «антисоветскость». — Это не верно... Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица...»

Имеем право воскликнуть: не так! Разве Зощенко не превратил общедоступное косноязычие в стройную речевую систему, настолько неповторимую, что ей нельзя подражать? Сразу скажут — украл. И назовут, у кого именно.

И все же — да, это язык, на котором говорит и, главное, думает улица. Думает, не всегда умея адекватно выразить свои тайные мысли. А Зощенко дал «среднему человеку» право голоса. Сам стал его голосом.

Между прочим, в точности как Платонов, в иных отношениях с ним несоприродный. И сам голос — другой. «Никита сидел в кухне... и ел тело курицы». «Копенкин пришел в самозабвение, которое запирает чувство жизни в темное место и не дает ему вмешиваться в

смертные дела». «Вощев... собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы как документы беспланового создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания».

Редчайшая самобытность, рискованно граничащая с графоманством и советским новоязом, — словно соавторство с трудно мыслящими и убого выражающимися героями: «Активист улыбнулся с пронизательным сознанием, он предчувствовал, что этот ребенок в зрелости своей жизни вспомнит о нем среди горящего света социализма, добытого сосредоточенной силой актива из плетневых дворов деревень».

Платонов никак не мог сказать о себе зощенковскими словами: «Фраза у меня короткая. Доступная бедным», — и писал он языком, скорее, не улицы, а советского коллектива. Но что действительно мог повторить за Зощенко, так это то, что и для него неприемлем «интеллигентский язык, на котором многие еще пишут, вернее, дописывают. Дописывают так, как будто в стране ничего не случилось».

Однако — случилось. Недаром Набоков сказал, что в словесности советской России вместо русского языка воцарилась «блатная музыка», — в чем столько же правды и в то же время неправды, как в высказывании Марка Алданова, будто великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате». Литература, даже великая, не кончилась, она стала другой. Как у Зощенко. Как у Платонова.

Исследователь Платонова Лев Шубин вспомнил сцену из «Чевенгура», где на партконференции сидит и бормочет некто, «думая что-то в своем закрытом уме и не удерживаясь от слов. Кто учился думать при революции, тот всегда говорил вслух...» И дальше: «Человек бормотал себе свои мысли, не умея соображать молча. Он не мог думать втемную — сначала он должен свое умственное волнение переложить в слова, а уж потом, слыша слово, он мог чувствовать его».

Комментарий Шубина: «Неправильная» гибкость языка Платонова, прекрасное «косноязычие» его, шероховатость... все это своеобразное мышление вслух, когда мысль еще только рождается, возникает, «примеряется» к действительности. ...Мысль только стремится схватить предмет — это процесс, который еще не завершен...»

Наблюдение, далеко выходящее за пределы чистой стилистики: незавершен, находясь в процессе творения, сам мир в платоновском восприятии. Он растет, как и сам Платонов, прораставший сквозь собственные заблуждения и иллюзии: странно и не странно отметить, что в своих ранних взглядах он был так же наивен и революционно радикален, как его чевенгурцы и строители котлована.

«Чевенгур» — роман странствий и поисков земного рая (что искал, чего жаждал сам Платонов, и революцию воспринявший — снова цитата из Шубина — «как начало царства сознания, которое несет в мир пролетариат»).

«Утром Шумилин догадался, что, наверное, массы в губернии уже что-нибудь придумали, может, и социализм уже где-нибудь нечаянно получился, потому что людям некуда деться, как только сложиться вместе от страха бедствий и для усилия нужды». Впрочем, этот Шумилин для того и назначен на пост предгубисполкома, дабы подчинить нечаянность большевистской воле, и вот для поиска и строительства командирруется очарованный странник Саша Дванов, не двойник, но полпред самого Платонова.

Сатира? Но над мечтой о Беловодье, Лукоморье, Муравии, Утопии, чем сотни лет тешилось мужицкое сердце, Платонов смеяться не может. Он смеется, а вернее, страдает от абсурдности осуществления мечты.

В «Чевенгуре» и «Котловане» — метафорический конспект истории советского государства с взглядом вперед (массовые репрессии). Чевенгурский уезд — Обломовка, воплощение российской неподвижности; чевенгурцы-обломовцы мирно ждут конца света, пока сама неподвижность не начнет движения в сторону коммунизма, мифологически понятого как конец истории. «Пролетарии и прочие, прибыв в Чевенгур, быстро доели пищевые остатки буржуазии и... уже питались одной растительной пищей в степи. ...Кроме того — неизвестно,

настанет ли зима при коммунизме, и вся природа поэтому на стороне Чевенгура». И до тех пор, пока романтики-чевенгурцы не примут смерть от налетевшей невесты откуда банды (словно Платонов взял да и пожалел тех, чьи взгляды на мир, на историю и революцию сам не так уж давно разделял: даровал им легкую смерть вместо дальнейшего разложения), они все же успеют пройти путь к тому, что Замятин предсказал романом «Мы», а Достоевский — «Бесами». К коммунизму казарменному, даже — пещерному.

Словом, неправдоподобной наивностью кажется недоумение Платонова, отчего «Чевенгур» не хотят печатать, коли он сочинял его с «пиететом к революции». Это он, пишущий: «Значит, в Чевенгуре есть коммунизм, и он действует отдельно от людей. Где же он тогда помещается?» Или: «...Такой же странный человек, как и все коммунисты: как будто ничего человек, а действует против простого народа»...

Начав учиться думать — уж при революции ли или после нее, — невозможно не прийти к тому, к чему пришли Зощенко и Платонов, при всей словесной своей изощренности ставшие голосом «простого народа». Невыдуманного «неблагодарного пайщика». Так мог ли тот, кто бюрократизировал чевенгурский порыв и закопал в котлован миллионы «строителей социализма», — мог ли Сталин не признать гениального Зощенко «отщепенцем и выродком», а на полях повести гениального Платонова начертать кратко и выразительно: «Сволочь!»?

Теперь-то понимаем, что такая оценка куда почетнее, чем медаль Героя Социалистического Труда. Но в ту пору...